

И. П. Хархордин	184
В. Я. Шамкин	196
История понятий	
История понятий	207
История понятий	233
История понятий	252
История понятий	279
История понятий	297
История понятий	300

О. В. Хархордин

История понятий КАК МЕТОД ТЕОРИИ ПРАКТИК

В данной статье я не буду заниматься лингвистическими или историческими изысканиями, не чувствуя себя специалистом в этих областях. Моя задача в этом тексте. — не практиковать историю понятий, а описать этот подход как прагматический метод для философского или социально-политического исследования. Как у академической истории есть вспомогательные исторические дисциплины, так и у философии или различных теорий практической жизни могут быть вспомогательные методы. Их задача — родовспоможение, практикуемое при порождении новых понятий или вопросов, поставленных по-новому. Иными словами, если сократовская майевтика позволяла в результате искусного вопрошания актуализировать знание, уже имеющееся у человека, то история понятий имеет более скромные цели. Она лишь позволяет задать вопрос по-новому; ответ же представит дальнейшее теоретическое или практическое исследование, разбуженное этим вопросом. Поэтому история понятий особенно продуктивна, когда она применяется в исследовании того, где, как кажется, все совсем не проблематично и ясно, — то есть в сфере устойчивых и рутинных операций нашей повседневной жизни, коими занимается теория практик [Волков, Хархордин 2008].

* * *

В теории практик действие часто исследуется через его разного рода нарушения — поломки, осечки, задержки и т. п. Во-первых, многие повседневные и рутинные действия часто только и становятся заметными в результате того, что нарушается их плавный ритм; например, именно нехватка чего-либо или, наоборот, чрезмерное изобилие делает его заметным. Во-вторых, именно в это время как бы приот-

крываются «черные ящики» механизмов наших рутинных операций; мы замечаем, — например, через отсутствие — характеристики того, присутствие чего гарантирует успешное и непроблематичное исполнение рутинной деятельности [Волков, Хархордин 2008: 52—53].

В этом отношении история понятий дает нам целый набор практических приемов выявления и анализа таких поломок. Если рассматривать историю понятий как историю типовых речевых актов, схваченных в типичных примерах зарегистрированного словоупотребления, то ясно, что она помогает социологу заметить те аспекты стандартных ситуаций повседневной жизни прошлого, которые послужили прагматическим контекстом или фоном для типичных примеров словоупотребления, теперь опубликованных в историко-этимологических словарях, подобных Oxford English Dictionary. Иными словами, антураж или предметы и существа, задействованные в таких ситуациях, помогают заметить скрытые от нас ныне характеристики рутинного действия: ведь когда-то они были открыты вниманию, их эксплицитно проговаривали, причем в странных для современного пользователя языка условиях. История понятий, таким образом, — еще одно средство остранения нынешней повседневности.

Мой основной тезис, однако, будет несколько удивителен для тех, кто считает, что есть две основные школы истории понятий — немецкая традиция, сложившаяся вокруг трудов Райнхарта Козеллека и его коллег, и кембриджская школа, лучшим методологом которой традиционно считается Квентин Скиннер. Анализ речевых актов, который практикуется и теми и другими, во многом покоится на трудах Хайдеггера и Витгенштейна. Я же попытаюсь показать, что труды Джона Л. Остина дают нам не менее, а может, и более удобный набор инструментов для истории речевых актов, и потому они очень полезны с эвристической точки зрения для анализа, проводимого в рамках теории практик. В рамках короткой статьи я не буду, конечно же, обсуждать все творчество Остина, а остановлюсь лишь на пересказе тех возможностей и продемонстрирую те примеры хода мысли, которые предлагает чтение его знаменитого методологического эссе «A Plea for Excuses» [Austin 1961; Остин 2006].

Остин начинает свое изложение с противопоставления оправданий (justifications) и извинений (excuses) как двух способов подойти к систематическому рассмотрению вопроса о том, что такое действие, или

точнее, — к вопросу о том, что подпадает или не подпадает под категорию совершенного и случившегося действия [Остин 2006: 201—203]. Оправдание требуется, когда некое прискорбное действие совершено, но описывается как необходимое; извинения требуются, когда такие действия вроде и не сделаны, или не совсем сделаны, или сделаны не тем, кому приписываются. Вот примеры, которые мы можем дать вслед за Остином. Если было совершено убийство, то оно может быть оправдано как, например, совершенное на поле боя в целях защиты родины; извинения же лишь помогут нам сказать, что убийства не было, а была, например, халатность или неосторожность. Или другое: мы смотрим на девушку, уронившую поднос с посудой. Фраза «да, я его уронила, зато я разрядила семейную напряженность за столом, и никто не перешел на личности, а это было бы еще хуже!» есть оправдание; фраза «да, уронила, но меня укусила оса!» есть извинение.

Анализ оправданий лежит в основе современной французской прагматической социологии. Название главной книги Болтански-Тевено — «De la justification»; предмет ее исследования — 6 миров оправдания, в рамках которых современные французы делают свои упреки или защищаются от критики [Волков, Хархордин 2008: глава 13]. Анализом же извинений занялся Остин. Он, конечно, сделал это в первом приближении, и книга «De l'excuse», которая бы использовала эмпирическую базу, сравнимую с той, на которую опирались французские авторы, все еще ждет своего дня.

Исследование действий через извинения за них позволяет с помощью анализа пролетов и промахов рассмотреть особенности самого действия. Например, мы можем отметить достаточно тонкие детали того, какие наречия могут применяться при извинениях, — ведь не все наречия и не всегда уместны при всех глаголах. Можно ударить стоящего напротив вас собеседника по лицу, если вдруг вы решили перейти от словесной перепалки к кулачному бою — и сделать это «внезапно», «намеренно» (если говорить по-философски) или «умышленно» (если говорить по-юридически). Но сделать это «невнезапно», «ненамеренно» или «неумышленно» — уже потребует дополнительных объяснений, как такое могло случиться, — ведь обычное использование таких наречий в паре с фразой «ударил по лицу собеседника» является неуклюжим и достаточно странным для типовых ситуаций словоупотребления.

Можно ли вообще сказать, не создав еще больших проблем между нанесшим и получившим удар по лицу: «Извини, я ударил тебя случайно»? Ответом может быть: «Как это — случайно? Такие случайности недопустимы», — и извинение не удастся так же, как невозможно изви-

ниться (пример Остина), сказав: «Ой, извините, я случайно наступил на вашего годовалого ребенка». Проведя анализ того, какие наречия и в каких ситуациях непроблематично употребляются с данным глаголом, а какие нет, мы больше узнаем о центральных характеристиках исследуемого действия. В пределе мы вообще можем подойти к классификации актов по тому, какие типовые наречия могут к ним применяться, а какие нет; это — одна из новых возможностей для социологии действия.

Остин называет подобное исследование «лингвистической феноменологией»: «мы используем наше обостренное внимание к словам для того, чтобы обострить наше восприятие феноменов (но при этом мы не используем его в качестве последнего судьи)» [Остин 2006: 207, перевод подправлен]. Задачей для Остина здесь является *field work in philosophy*, полевые исследования в философии, которые позволяют получить прямой доступ к самим феноменам, т. е. доступ, не замутненный веками философских размышлений о них. Наверное, поэтому Остин считает оправданным использование термина «феноменология» — ведь он, как и Гуссерль, находится на пути *zu den Sachen selbst*, «к самим вещам». Главное — исследовать те ситуации, где «обыденный язык наиболее богат и пронизателен», и это, конечно же, касается такой темы, как извинения за действия, но не касается такой философской темы, как, например, время: «Мы можем предпринять обсуждение неуклюжести, рассеянности, необдуманности и даже спонтанности (действия. — О. Х.), не думая о том, что говорил по этому поводу Кант» [Там же: 208]. Иными словами, в анализе обыденного языка извинений за действие X можно найти много четко сформулированных различий, сопоставлений и противопоставлений, которые помогут ответить на вопрос, что значит «сделать X».

Доступ к самому феномену X обеспечивается тем, что если мы обнаруживаем устойчивое употребление фраз с искомым X, то контрасты и различия, зафиксированные в примерах этого словоупотребления, есть результат застывшего опыта многих поколений. И что особенно важно, этот опыт — не результат уединенного разглядывания предмета под микроскопом или продукт фантазий кабинетного философа, он возник в заботах практической жизни, с которыми сталкивались миллионы. Возможно, в некоторых наиболее типичных примерах словоупотребления даже схвачены парадигматические аспекты ситуации, в которой регулярно практиковался и закреплялся данный опыт — т. е. в них упоминаются те обычные для данного действия люди и вещи, а также типы их связки или конфигурации, когда этот опыт сложился.

* * *

Вторая причина, по которой подобные полевые исследования в философии нужны были Остину — терапевтическая. С помощью анализа обыденного языка можно прояснять, если не разрешать великие философские вопросы, и тем самым лечить людей от заболевания под названием кабинетная философия.

Возьмем снова пример с анализом наречий, используемых в извинениях за действия. Он показывает, что очень немногие из пар наречий-антонимов применимы к одному и тому же глаголу. Кабинетная философия заставляет нас верить, что любое действие можно сделать как М-но, так и не-М-но: Например, в философских трактатах мы можем прочесть, что всегда можно сделать что-то свободно или несвободно, по собственной воле или нет. Но случаи конкретного словоупотребления показывают, насколько сложно приписать одному действию как характеристику М, так и не-М: что значит «он ударил его по лицу свободно»? А «ударил несвободно»? Несколько более приемлемо звучит «он ударил его по лицу по своей воле» и «он ударил его по лицу не по своей воле». Но неуклюжесть подобных фраз на русском подсказывает: Остин подчеркивает важный аспект, когда говорит, что великая философская проблема свободы воли возникла из-за того, что нам навязали мнение, что наречия-антонимы, например английские слова *voluntarily* и *involuntarily*, могут равно применяться ко всем действиям. В практических ситуациях жизни это не так: если можно легко икнуть *involuntarily*, то есть таким образом сложно. Общий же анализ использования этих английских наречий показывает, что глаголы, которые модифицируются наречием *voluntarily* имеют антонимом *under duress* (под принуждением), а те, которые модифицируются *involuntarily*, имеют антонимом *on purpose, deliberately* (намеренно, с целью). Проблема *voluntary action* или *free will* — надуманная проблема, которая возникает, когда кабинетный философ говорит, что для целей абстракции любой глагол X мы можем заменить глаголом «делать», и к «делать» приставить как наречие «М-но», так и наречие «не-М-но». В практической жизни такие надуманные вопросы не возникают, и терапия на базе остиновского метода может излечить от склонности задаваться пустыми кабинетными вопросами — например, такими как «что такое свобода в своей сущности?». Ведь только в конкретных случаях (и очень специфических) можно сказать, что что-то было сделано «свободно».

Почему эти вопросы волновали Остина — понятно; это следствие его профессиональных интересов. Для людей же, занимающихся тео-

рией практик, не так важно повторить его философские эскерсисы, идя тропками русского языка, — например, исследовать примеры словоупотребления, чтобы показать, что можно сделать нечаянно и почти никогда нельзя сделать «чаянно» (пролить чай на соседа), или что почти никогда нельзя сделать случайно, и почти всегда делается неслучайно (случить двух дорогих породистых собак со знатной родословной). Для теории практик важно идти к самому феномену — действию X — через исследование модификаторов и выявляемых ими значимых для действия контрастов. Наречия и дополнения здесь первые по значимости. Именно с подчеркивания внимания к модификаторам глаголов начинается список 13 остиновских методических пунктов исследования, благодаря которому особенно знаменито эссе «A Plea for Excuses». Я не буду пересказывать их — читатель их легко найдет сам (правда, английский оригинал будет более ясен, чем русский перевод), но рискну добавить 14-й.

* * *

Дело в том, что для теории практик особенно полезны не примеры нынешнего или недавнего стандартного словоупотребления, а примеры из древней истории слова, схваченные в словарях или самих первоисточниках. И именно такие источники, а не судебные кейсы (где четко устанавливается, сделал ли человек А действие X, или нет) или наблюдения за поведением животных (которые показывают пределы применения привычных дистрикций нашего языка), на которые указывает Остин, дают нашим исследованиям особенно много. Ведь подмечать диахронные контрасты — это один из основных инструментов для остранения практик.

Мы почти не замечаем сейчас, например, такое распространенное действие, как «общаться», особенно потому, что, как кажется, это делают все и почти всегда. Но в древнерусских источниках оказывается, что это действие контрастирует с «вести беседы» и может как раз и не подразумевать только словесную коммуникацию. Как говорится в послании митрополита Киприана игумену Афанасию (1390 г.): «Чернецам же с женами опчитися и беседы с ними творити бедно есть». Прочитав в разделе 3 словарной статьи «общатися» «Словаря русского языка XI—XVII вв.», что этот древнерусский термин имел и прямые сексуальные коннотации (пример из этой статьи: «А дватцеть деветь [блюд] велить несть к женскому полу, сиречь с султанкамь, с которыми общается» [СлРЯ XI—XVII вв., 12: 191]), можно реконструировать

для себя смысл этого запрета. Однако такое понимание заставляет по-новому оценить и нашу нынешнюю жизнь и задать вопрос, насколько в нынешнем общении можно все еще найти и элементы того «опчения» XIV века.

В приведенном примере все же «опчаются» с людьми, с чем наша языковая интуиция мирится достаточно спокойно, но ей становится немного не по себе, когда в Лаврентьевской летописи (список 1377 г.), в записи под 1015 г. об убийении Святополком св. Бориса цитируются притчи Соломона из Библии (I:18): «О сяковых ибо Соломон рече; скоры суть пролити кровь без правды. Те ибо общаются крови, собирають себе злая»¹. В текстах XIV—XV веков общаются, как оказывается, не только с людьми, а еще и общаются крови. Так и хочется ввести другое глагольное управление, чтобы передать странную фразу немного по-другому — те, кто приобщается к крови, собирают себе зла, — трансформируя текст притч по модели цитаты из «Златоструя», приводимой в статье «общеватися» «Словаря русского языка XI—XVII вв.»: «не общуйтесе к деломь тьмы» [СлРЯ XI—XVII вв., 12: 192]. Но во всех этих случаях странность исторического словоупотребления подталкивает современного читателя спросить: может, некоторые проблемы нашего нынешнего общения будут по-новому осмыслены, если мы поймем, что внутри него исстари был не только потенциал безобидной беседы, но и возможность начать «общаться крови»?

* * *

Глагольное управление в исторических источниках, которое отличается от ныне распространенного, позволяет заметить обычно пропускаемую деталь в Остине — кроме внимания к модификаторам глаголов, он требует внимания и к предлогам. Как он пишет:

Ибо мы непременно сталкиваемся с вопросом о том, почему существительные, принадлежащие к одной группе, управляются предлогом «под», принадлежащие к другой — предлогом «на», а принадлежащие

¹ Переписчик Лаврентьевской летописи написал «общаются» через ъ (стб. 133 стандартного издания ПСРЛ) — настолько, возможно, был странным оборот «общатися крови» и для него, а перед цитатой из притч стояло описание того, как вышегородцы «обещасяся» Святополку убить Бориса (стб. 132); Геннадиева Библия 1499 года, однако, четко перевела текст притч: «ногы бо ихъ на зло рещуть, и скоры суть на пролитие крове... тии бо общающесе крове ихъ събирають себе злая». Все примеры из «Словаря русского языка XI—XVII вв.», статья «общеватися» [СлРЯ XI—XVII вв., 12: 191].

к третьей — предложениями «у», или «по», или «для», или «с» и т. д. Было бы в высшей степени прискорбно обнаружить, что подобный способ группировки не имеет под собой никакого реального основания [Остин 2006: 213].

Действительно, не является ли эффект остранения, который сообщает историческое словоупотребление современному читателю, результатом столкновения с фундаментально другим образом жизни, когда вещи переплетались с людьми совсем другим образом, чем сейчас, а предлоги это отчасти фиксировали?

Например, возьмем известные строки из Новгородской первой летописи, запись за 1230 год:

И послаша по Ярослава на всеи воли новгородстеи; Ярослав же пакы въбързе прииде въ Новьгородъ месяца декабря въ 30, и створи веце, и целова святую Богородицу на грамотахъ на всехъ Ярославлихъ [НПЛ: 70].

Почему к нему посылают «на» всей воле, а не «по» всей воле, и почему он совершает крестоцелование «на» грамотах, можно, наверное, объяснить следующим образом: новгородцы делают НА воле, а не ПО воле очень специальные вещи. НА употребляется при указании на условия заключения договора или осуществления чьих-то полномочий. Похожим образом мы и сейчас можем сказать: «Мир заключен НА условиях победителя. ПО этим условиям проигравшая сторона не имеет права и т. д.» — и никогда не поменяем предлоги места. «Воля» и «грамоты» в приводимой цитате — это именно условия, принимаемые или предлагаемые; при этом речь идет о заключаемом именно в данный момент времени договоре. Поэтому в докончаниях Новгорода с князьями часто стоит: «НА том целуй крест», — но там, где речь идет о действиях, совершаемых согласно договору, будет: «ПО грамоте отца твоего Ярослава». И схожим образом, когда в грамоте Новгорода с готским берегом и немцами 1189—1199 г. сказано «послалъ есмь посла своего Григу НА сеи правде», это значит не «послал согласно этому договору», а «послал заключать договор на этих условиях»².

Такая интерпретация средневековых текстов показывает, как сложилась разница глагольного управления «на воле» и «по воле», «на грамотах» и «по грамотам». Однако остается вопрос, почему исполь-

² Я благодарен Алексею Гиппиусу за эту интерпретацию. Текст грамоты Ярослава Владимировича цитируется по [Грамоты 1949: 55].

зовался именно предлог «на» для описания докончания, т. е. свершения договора, а не «под», например, или «у» — почему мы не находим «под / у всеи волей / и новгородстеи»? Последний вопрос может показаться немного сумасшедшим, но с существительным «воля» в НПЛ действительно употребляются только «на» и «по», редко — «в», как в записи под 1375 г. о переговорах Михаила Тверского с Дмитрием Донским о передаче себя в его волю: «И виде князь Михаило грядущу силу новгородчкую на ся, и посла къ князю великому владыку Еуфимиа, а дая ся въ всю волю великому князю». Интересно, что новгородцы, помогавшие Донскому взять Тверь, как всегда, докончали мир под стенами Твери «на всеи воли князя великаго и на новгородчкою» [НПЛ: 373].

Вообще, если посмотреть на предлог «на» в летописных фрагментах, упоминающих «волю», то видно, что он, конечно же, часто употребляется для указания места. Так: «В лето 6736 [1228]. Поиде архиепископъ новгородчкы владыка Антонии на Хутино къ святому Спасу по своеи воли». Под 1196 годом читаем:

А Ярославъ княжаше на Торъжку въ своеи волости, и дани поимаше во всеи волости: по Верху, Мьсте и за Волочкомъ возме дань; а новгородцовъ изъзыма Всеволодь за Волочкомъ и по всеи земли своеи, держаше у себе, не пуста ихъ в Новьгород; но хожаху по граду Володимиру по своеи воли [НПЛ: 270, 236].

В 1270 г.:

...бысть мятежь в Новегороде: начаша изгонити князя Ярослава из Новагорода, и созвониша вече на Ярославле дворе, и убиша Иванка, а инии вбегоша въ Ниолу святыи; а заутра побежаша к князю на Городище тысячкой Ратиборъ и Гаврила Кыяниновиць а инии приятели его.

Учитывая частое употребление оборота «на веце», понятно, что речь здесь тоже может идти о месте. В 1324 г.:

...Тогда же сдумавши новгородци, игумены и попове и чернци и весь Новьградъ, възлюбиша вси богомъ назнаменана Моисея, преже бывша анхимандритомъ у святого Георгия, потомъ бяше вышелъ по своеи воли къ святеи Богородици на Коломци въ свои манастырь, и возведоша на сени, и посадиша и во владычни дворе, дондеже позоветь его митрополить [НПЛ: 319, 340].

Пошел на Хутино, княжил на Торжке, созвонили вече на Ярославле дворе, побежали к князю на Городище, возвели владыку на сени —

так неужели фраза «на всеи воли новгородской» не содержит никаких отсылок к пространственным коннотациям? Ответить на этот вопрос смогут профессиональные филологи, но даже неискушенный читатель может уже почувствовать разницу между такими действиями, как ходить по своей воле (в монастырь или по Владимиру), отдать себя в волю великому князю и договориться с очередным князем на всей воле новгородской. И тогда опять встает вопрос не о прошлом, а о современности: если мы сохранили способность передвигаться в пространстве по своей воле и — хоть немного — отдавать себя в волю другому, когда, например, вверяешь себя чему-то или кому-то дорогому или высшему, почему мы совсем не сохранили способность приглашать правителя на нашей воле? Может быть, исчезло то место или пространство, где раньше можно было это сделать? Конечно, приводя подобные вопросы, я не хочу указать на ответы, к которым они приводят (ответы требуют отдельного исследования), а лишь то, как логика остиновского остранения дает возможность хотя бы задать эти вопросы, которые иначе было бы трудно и сформулировать.

* * *

Интерес к списку первичных и типовых прагматических условий ситуации, закрепившихся со временем в устойчивом словоупотреблении (в нашем пример — в идиоме «на всей воле новгородской»), движет Остином и тогда, когда вслед за исследованием модификаторов действия и предлогов он предлагает сконцентрироваться на *trailing clouds of etymology*, остаточных облаках этимологических подсказок. «Углубляясь в прошлое истории слова, часто доходя до его латинского корня, — пишет он, — мы всегда возвращаемся к изображениям или моделям того, как нечто случается или совершается» [Остин 2006: 229]. Конечно, здесь есть опасность, что мы, следуя философской моде Нового времени, захотим увидеть за латинским корнем слова очень простое физическое действие и все интерпретируем по этой модели вместо того, чтобы реально исследовать, в каких древних прагматических ситуациях реально складывалось историческое слово. Другая опасность — что этимология незначима, так как использование термина привело к радикальному дистанцированию от первоначального прагматического контекста, и поэтому исследовать ее не стоит. И все же чаще кажется, что это не так. Как замечает Остин, английское слово *accident* по своей латинской этимологии означает, что что-то выпало тебе (от *cadere*, лат. «падать»); а два типа ошибки

в английском языке не совсем равнозначны: *mistake*, понимаемое как *mis-take*, взятое не так, мимо или как промахка при попытке взять, — это не совсем *error*, производное от английского глагола *err*, сбиться с пути, свернуть с тропинки.

Русское слово «ошибка» в этом отношении, наверное, ближе к *mistake*. Если верить Фасмеру, этимология русского слова тоже указывает на про-мах, ведь церковнославянское «ошибати» значит «промахнуться, ударить мимо цели» и связано с «шибати». Шибануть не туда, промахнуться во время удара — эта базовая метафора напоминает тот образ, что лежит в основе новозаветного греческого слова для обозначения греха — *hamartia*, который также употреблялся, когда стрела прошла мимо цели³. Но ударить не туда, промахнуться мимо цели — это несколько другая прагматическая ситуация, чем застывшая в структуре английского слова *mistake*: взять не то, или не так, или промахнуться при попытке схватить — не значит все же ударить мимо. Говорит ли что-то интересное о русской культуре тот факт, что корневая метафора термина «ошибка» связана с ударом, шибанием, а не с взятием или блужданием, как нам это представлено в центральных английских терминах для обозначения, как кажется, того же самого феномена неудачи действия?

Для того, чтобы оценить всю силу шибания, зафиксированного в корневой основе русского слова «ошибка», приведем следующий пример с однокоренным ему словом. В известной берестяной грамоте № 954 читаем:

От Жирочька и от Тешька къ Вдовиноу. Млви Шильцеви: Цемоу пошибаеши свинье цюже? А пьнесла Ньдрька. А еси посоромилъ коньць въхъ Людинь: со оного полоу грамата про кьни же та быс, оже еси тако сътворилъ.

А. А. Зализняк и В. Л. Янин интерпретируют ее следующим образом:

Общий смысл документа достаточно ясен: авторы Жирочко и Тешко поручают некоему Вдовину предъявить человеку по прозвищу Шильце обвинение в том, что он «пошибает» чужих свиней. Осно-

³ «Ошибка» — чисто русское слово среди славянских языков, но связь ее с грехом очевидна в терминах, обозначающих ошибку в болгарском — «грешка», сербско-хорватском — «погрешка», и в украинском — «помилка», напоминающем «смильное заставание» древнерусских уставов. Однако П. Я. Черных, приводящий эти данные, также напоминает, что термина «ошибка» русский язык не знает до XV—XVI вв.; а первое значение «ошибитися» — это «отшибитися», т. е. «отпасть, оказаться на отшибе» [Черных, I: 614].

ванием для этого послужили рассказы некоей Ноздрьки. Это дело означает позор для всего Людина конца, поскольку оно приобрело общегородскую огласку — с Торговой стороны пришла грамота, где сообщается, что то же самое Шильце проделал и с конями [Зализняк, Янин 2006: 5].

Основной аргумент последующего изложения сводится к тому, что «пошибати» не означало здесь сексуального действия, а именно так часто интерпретируется тот же самый термин, встречаемый в древнерусских княжеских уставах. Конечно, мы знаем, что в латинском переводе XVIII века термин устава Владимира «пошибание» был переведен на латинский как *stuprum*, т. е. «бесчестие, срам, разврат»; но авторы доказывают, что слово «пошибка», зафиксированное в народных говорах и означающее 1) «инфекционная болезнь скота, эпизоотия» и 2) «болезнь, порча, напускаемая колдуном», лучше объясняет происходящее — поэтому причиной конфликта стали колдовские действия Шильца, приведшие к мору свиней, а потом и коней [Там же 2006: 6—7]⁴.

Другие однокоренные слова почти все подразумевают мощный удар. В словаре Срезневского «зашибати» употребляется для описания удара молнии или другого удара, приведшего к смерти, «шибание» и «шибение» означает раскат грома, а сам глагол «шибати» в новгородской и псковской летописях означает либо удар стенобитного орудия в стену крепости, либо удар камнем, брошенным защищающимися со стены [Срезневский, 2: 959; 3: 1592]⁵. Похоже, что легкость, с которой извиняются за ошибки в сегодняшнем поведении, была явно несвойственна извинениям за случаи пошибания, зашибания или просто шибания, если вообще извинения в этих случаях были возможны⁶.

⁴ Эта интерпретация, естественно, оспаривается в ЖЖ, где приводятся все аргументы за то, чтобы переводить «пошибати» как *future*, и тогда грамота — про скотоложество (<http://kassian.livejournal.com/48390.html?thread=579846>), или переводить как «бить» (http://community.livejournal.com/old_rus/13089.html?thread=76065#t76065).

⁵ «Ушиб» я не упоминаю, так как это слово фигурирует в словаре [Срезневский, 3: 1343] только в смысле «головное покрывало», ср. древнерусское «ушьвь».

⁶ Можно ли вообще представить себе ситуацию извинений за пошибание? Это преступление было предметом церковного суда, который назначал, например, по уставу князя Владимира, серьезные денежные штрафы в случае, «аще кто пошибает боярскую дочь или боярскую жену» (цит. [Зализняк, Янин 2006: 5]).

* * *

Насколько примеры исторического словоупотребления из других языков, а не русского, помогают теории практик? Остин [2006: 230] пишет, что с латинскими корневыми моделями английских слов обычная проблема заключается в том, что «значение слова распространилось на такие случаи, связь которых с исходной моделью едва ли различима — и это становится источником появления все новых заблуждений и предрассудков». То есть слово сохранилось, но от модели практики, когда-то схваченной корнем, уже давно отказались; по меньшей мере, именно то, как сейчас используется данное слово, уже никак не указывает на первоначальную модель. Для русского языка в этом отношении будет уместно указать на случаи, когда мы тоже пользуемся словами с латинскими корнями или вообще латинскими кальками: те практики, в которые вписано русское слово «республика», например, не имеют, возможно, ничего общего с практиками, в которые было вписано «достояние народа», как иногда переводят Цицероновское выражение *res publica* сейчас, или были вписаны «вещи гражданские», как переводили этот термин в XVIII веке⁷. Тем интереснее остранять наши обыденные представления о республике с помощью примеров исторического словоупотребления.

Мы часто, как советские переводчики и читатели Цицерона, думаем, что *res publica* — это форма государства. Например, римское выражение *dicere de re publica* часто переводится как «говорить о государственных делах», и как кажется, именно серьезность этого действия придала торжественности таким актам, как «State of the Union address» американского президента или нашему аналогу оно — ежегодному обращению Президента РФ к Федеральному собранию. Серьезность эта проистекает из того, что *dicere de re publica* — это устойчивая идиома, можно сказать, штамп делового языка римского сената [Дрекслер 2009: 132]. Выступать о *res publica* имели право члены сената; они могли прервать ход заседания, потребовав внеочередной речи о *res publica*. Препятствовать подобному говорению было делом из ряда вон выходящим, это приводило к серьезным конфликтам. Ливий [III.39.2; 1989: 42] приводит, например, следующую сцену эпохи

⁷ Полное Собрание законов Российской империи IV: 67: «Воля учинилась, дабы покой обновился и права дружбы и употребление древняго соседства постановлены были, которые причиноу суть согласия вещей гражданских» (цит. по статье «вещь» в Словаре русского языка XVIII века [СРЯ XVIII в., 3: 100—104]).

зурпации власти децемвирами: «По преданию, после выступления Аппия Клавдия, и прежде чем по порядку стали высказывать мнения, Луций Валерий Потит потребовал, чтобы ему дали говорить о *res publica*, а в ответ на грозный запрет децемвиров вызвал их замешательство, объявив о своем намерении [тогда] обратиться к плебеям». Сенатор угрожал, что будет апеллировать к народу, если его законному праву говорить о *res publica* в сенате воспрепятствуют. Положение Рима в целом — серьезный повод для внеочередной речи, которая и попытается определить это положение. Ныне мы имеем не сенаторов, а президентов, и говорящих раз в году, а не время от времени (когда того требуют серьезные угрозы), но перформативная оценка происходящего, как кажется, свойственна и сценам из жизни римского сената и нынешних парламентов.

Тем интереснее те латинские фразы, которым мы не можем так просто найти параллели в современной жизни, так как либо глагольное управление другое, либо обращение, с которым сталкивается *res publica*, отличается от того обращения, к которому привыкло сегодняшнее государство. Например, близкое к *dicere* выражение *sentire de re publica*, в смысле *sententiam dicere*, т. е. «высказывать мнение, суждение», Цицерон использует, когда говорит в речи против Писона о своих разногласиях с Цезарем по поводу *res publica*: *ego C. Caesarem non eadem de re publica sensisse quae me scio*, «я знаю, что Гай Цезарь думает о *res publica* не то же самое, что я». А в речи о провинциях консулов им используется схожее выражение: *ego me a C. Caesare in re publica dissensisse fateor et sensisse vobiscum*, «я признаюсь, что я не согласен с Гаем Цезарем по поводу *res publica*, а с вами согласен» (цит. по [Дрекслер 2009: 137]). Если использовать русские слова с латинским корнем, то можно передать эти высказывания так: консенсус с Цезарем по поводу *res publica* для Цицерона невозможен, возможен только диссент. Но интересно глагольное управление: римляне республиканского периода способны *sentire de re publica* и *dissentire in re publica*. Переводя немного неуклюжим русским языком, можно сказать, они способны чувствовать о республике и способны не соглашаться в чувствах по поводу нее.

Действительно, глагол *sentire* без предлога чаще всего означал просто «чувствовать что-то, ощущать что-то». Конечно, вместе с предлогом *de* он превращается в «думать» и «иметь мнение, считать», как, например, в диалоге «De Re Publica», где Цицерон вкладывает в уста Лелия фразу: *de re publica quid sentias, explicaris, nobis gratum omnibus*,

«ты, изложив свое мнение о *res publica*, обяжешь нас всех» [Cic. De Rep. I:34, Цицерон 1966: 18]. То же значение очевидно и в другом месте этого диалога, где Сципион говорит: *cum de illo genere rei publicae, quod maxime probo, quae sentio, dixero*, «Когда я выскажу свое мнение о том виде *res publica*, который считаю наилучшим» [Cic. De Rep. I:65, Цицерон 1966: 30]. Однако базовая коннотация чувствования не до конца стерлась даже в этих фразах с предлогами. А в третьей речи против Катилины Цицерон прямо апеллирует к первому значению *sentire* в выражении *sentire de*:

Поэтому я вчера призвал к себе преторов Луция Флакка и Гая Помпидина, мужей храбрейших и преданнейших *res publica*. Я изложил им все обстоятельства и объяснил им, что нам следует делать. Они, как честные граждане, одушевленные великой любовью к *res publica* (*qui omnia de re publica praeclara atque egregia sentirent*), без колебаний и промедления взялись за дело [Cic. Cat. 3. II:5, Цицерон, I: 313].

Латинско-английский словарь Льюиса и Шорта, который приводит эту латинскую фразу в разделе о третьем, переносном значении глагола *sentire* (в смысле «to think, deem, judge, opine, imagine, suppose»), переводит это трудное место так: «were full of the most noble and generous sentiments»⁸. Граждане любят *res publica*, они полны сантиментов по ее поводу; иными словами, они что-то чувствуют о ней, а не просто высказывают мнения о ней.

* * *

Подведем итоги. История понятий как история записанных речевых актов помогает нам остранить наше современное словоупотребление и тем самым позволяет заметить некоторые странности нашей нынешней жизни. Она позволяет задать новые вопросы и вследствие этого начать новые исследования.

Например, следующие. Почему мы имеем теперь право на ошибку и «ошибание», безумно легкие по сравнению с пошибаниями и зашибаниями прежних веков? Кто и как дал нам это право на ошибку, когда за (низкие) пошибы и зашибы ранее неумолимо наказывали? И почему для нас модель извинимой неудачи действия — это ошибка,шибание или удар мимо цели, т. е. про-мах? Иными словами, почему базовая практическая метафора неудачи действия в русской культу-

⁸ Последний раз проверено 12.7.2010 по <http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=sentire&la=la#lexicon>.

ре — это промахнуться при ударе или (если брать первые по времени зарегистрированные словарем значения «ошибати») — отшибиться, отскочить после удара на отшиб? И если проводить кросс-культурные сравнения, то почему наша базовая метафора — это, если ее перевести на английский, *mishit*, а не английское *mistake* или французское *se méprendre*? Конечно, среди двух основных типов неудач, перформативов по Остину, первый звучит очень близко к русскому — *misfire* [Остин 2006: 267]. Но значит ли это, что у нас легко извиняют за это и с трудом извиняют за второй тип неудач перформативов — за *abuses*, «злоупотребления»?

Но все эти казуистические вопросы о более свойственных россиянам типах пролета действия не так интересны, как поставленные нашей краткой статьей вопросы о свободе. Например, не имеем ли мы теперь очень специфическую свободу, потому что народ теперь делает все якобы по своей воле, но никогда не заключает контракт с правителями на своей воле? И не имеем ли мы очень странную республику, потому что мы до сих пор можем без проблем что-то считать о ней, говорить о ней или иметь мнение о ней, но совершенно утратили базовую способность что-то чувствовать о ней и не соглашаться с другими в этих чувствах?

ЛИТЕРАТУРА

- Волков, Хархордин 2008 — Волков В., Хархордин О. Теория практик. СПб.: Изд-во ЕУСПб, 2008.
- Грамоты 1949 — Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.; Л.: АН СССР, 1949.
- Дрекслер 2009 — Дрекслер Х. «Res publica» // Res publica: История понятия / Ред. О. Хархордин. СПб.: Изд-во ЕУСПб, 2009.
- Зализняк, Янин 2006 — Зализняк А. А., Янин В. Л. Берестяные грамоты из новгородских раскопок 2005 г. // Вопросы языкознания. 2006. № 3.
- Ливий 1989 — Тит Ливий. История Рима от основания города. Т. 1. М.: Наука, 1989.
- НПЛ — Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М.: Языки русской культуры, 2000.
- Остин 2006 — Остин Дж. Три способа пролить чернила. Философские работы, СПб.: Алетейя, 2006.
- СЛРЯ XI—XVII вв., 1—28 — Словарь русского языка XI—XVII вв. Вып. 1—28 — (издание продолжается). М., 1975—2011—

- СРЯ XVIII в., 1—17 — Словарь русского языка XVIII века. Вып. 1—17 — (издание продолжается). Л., СПб., 1984—2011—.
- Срезневский, 1—3 — Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. Т. 1—3. СПб., 1893—1912.
- Цицерон 1966 — Цицерон Марк Туллий. Диалоги. М.: Наука, 1966.
- Цицерон, I—II — Цицерон Марк Туллий. Речи. Т. 1—2. М.: Наука, 1993.
- Черных, I—II — Черных П. Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка. Т. I—II. М.: Русский язык, 1994.
- Austin 1961 — Austin J. L. Philosophical Papers. Oxford: Oxford University Press, 1961.